# Интим

Жан‑Поль Сартр

## I

Люлю спала голой, потому что любила понежиться под чистыми простынями, а стирка стоила недешево. Анри поначалу возражал: в постель не ложатся в чем мать родила, так не делают, это грязно. Но в конце концов он все же последовал примеру жены, хотя с его стороны это было просто уступкой; в гостях он держался натянуто, словно жердь проглотил (он восхищался швейцарцами, особенно женевцами, находя их представительными из‑за их деревянно‑невозмутимого вида), но проявлял небрежность в мелочах и был, например, не слишком чистоплотным: он довольно редко менял кальсоны, когда Люлю бросала их в грязное белье, она не могла не заметить желтизну в промежности. Самой Люлю грязь была не столь уж ненавистна: ведь она создавала больше интимности, мягких теней на изгибах рук например; и она терпеть не могла англичан с их безличными, непахнущими телами. Но неряшливость мужа наводила на нее ужас, ибо она была потворством собственным слабостям. Вставая утром, с головой, полной всяких видений, он всегда бывал слишком нежен к себе — яркость света, холодная вода, жесткий ворс щетки казались ему грубой несправедливостью.

Люлю лежала на спине, она просунула большой палец левой ноги в дырку на простыне; но это не была дырка, просто шов пополз. Какая досада: надо будет завтра его зашить, хотя она все‑таки продолжала растягивать его, чтобы ощутить, как рвутся нитки. Анри еще не спал, но он ей уже не мешал. Он часто повторял Люлю: едва он закрывает глаза, как чувствует себя намертво связанным прочными, невидимыми путами, больше не в состоянии пошевельнуть даже мизинцем. Словно огромная муха, запутавшаяся в паутине. Люлю нравилось чувствовать рядом с собой это большое покорное тело. «Если бы он мог оставаться таким беспомощным, я бы заботилась о нем, ухаживала, как за ребенком, переворачивала иногда на животик и шлепала по попке, а когда мать пришла бы его проведать, я приоткрыла бы его под каким‑нибудь предлогом, приподняв слегка одеяло, и она увидела бы его нагишом. Представляю, как она бы обалдела: лет пятнадцать, наверно, она не видела его в таком виде». Люлю мягко провела рукой по бедру мужа и слегка ущипнула в паху. Анри что‑то пробормотал, но не пошевельнулся. Совершенно беспомощный. Люлю улыбнулась: слово «беспомощность» всегда вызывало у нее улыбку. Когда она еще любила Анри, а он, бывало, лежал рядом с ней так же неподвижно, ей доставляло удовольствие представлять себе, что его, словно колбасу, опутали нитками маленькие человечки, вроде тех, что она видела в детстве на картинке в книжке о приключениях Гулливера. Она часто звала Анри «Гулливером», и Анри это очень нравилось, потому что это было английское имя, и Люлю при этом казалась образованной, но все же ему было бы приятнее, если бы Люлю произносила его с английским акцентом. «Как мужчины надоедливы; если он хотел образованную, ему следовало бы жениться на Жанне Бедер, груди у которой, как охотничьи рожки, но зато она знает пять языков. В воскресенье в Со, в гостях у его родни, мне было так скучно, что я брала первую попавшуюся книгу; и всегда находился какой‑нибудь любопытный, интересующийся, что же я читаю, а его младшая сестра спрашивала: «Вы это понимаете, Люси?..» А все дело в том, что он не считает меня благородной. Швейцарцы — вот благородные, потому что его старшая сестра замужем за швейцарцем, который сделал ей пятерых детей, и к тому же они ему импонируют своими горами… Я не могу иметь ребенка, это врожденный порок, но я, например, никогда не считала, что так уж благородно, когда мы выходим вместе, забегать каждую минуту в писсуар, заставляя меня, поджидая его, разглядывать витрины, — представляю, какой у меня глупый вид, — и появляться снова, подтягивая брюки и сгибая колени, словно древний старик».

Люлю вытащила палец из шва простыни и слегка пошевелила ступнями ради удовольствия чувствовать себя бодрой рядом с этой безвольной и покорной плотью. Она услышала урчание; урчащий живот раздражает, никогда не разберешь, в чьем животе урчит. Она закрыла глаза: «Это жидкости булькают в связках мягких трубок, так у всех, у Риретты, у меня (не люблю об этом думать, у меня живот начинает болеть). Он любит меня, но не любит мои кишки; если ему покажут в банке мой аппендицит, то он его не узнает, он постоянно лапает меня, но если ему дадут в руки эту банку, он ничего не почувствует, даже не подумает: «Это ее»; надо, чтобы в человеке любили все — и пищевод, и печень, и кишечник. Возможно, любить все это мы просто не привыкли, а если бы мы могли их видеть, как видим наши руки и плечи, то полюбили бы; морские звезды, наверно, умеют любить лучше нас, ведь, устроившись на берегу солнечным днем, они выворачивают свои желудки, чтобы их проветрить, и каждый может это видеть; интересно, как же мы вытаскивали бы свой желудок, через пупок?» Она закрыла глаза, и голубые круги закружились перед ней, как вчера, на ярмарке. «Я стреляла в них резиновыми стрелами, и при каждом попадании зажигалась буква, а из них складывалось название города, но Анри помешал мне выбить слово «Дижон» из‑за своей мании прилипать ко мне сзади; я ненавижу, когда меня трогают сзади, мне хотелось бы вовсе быть без спины, и я терпеть не могу людей, которые проделывают со мной всякие штучки, когда я их не вижу, они могут вытворять, что угодно, а ты не видишь их рук, просто чувствуешь, что они шмыгают вверх‑вниз, и не знаешь, куда они денутся через мгновенье; эти типы смотрят на тебя во все глаза, а ты их не видишь — Анри это обожает; ему и в голову бы такое не пришло, сам он только и думает, как бы пристроиться сзади меня, и я уверена, он нарочно хватает меня за зад, потому что знает, что я сгораю от стыда за свой зад, а его это возбуждает, но я не хочу о нем думать (она боялась), я хочу о Риретте». Она думала о Риретте каждый вечер в одно и то же время, в тот момент, когда Анри начинал бормотать и стонать. Но что‑то ей мешало, Риретту старался вытеснить другой, на мгновение Люлю даже видела его черные вьющиеся волосы, и она думала, что вот снова‑здорово, и она даже вздрагивала, потому что никогда ведь не знаешь, что произойдет; куда ни шло, если привидится лишь лицо, но бывает, что она ночи напролет не может сомкнуть глаз из‑за этих грязных воспоминаний, которые одно за другим всплывают на поверхность; ужасно, когда знаешь про мужчину все, особенно про это. «Другое дело — Анри, я могу представить его всего, с головы до ног, и это так трогательно, ведь он такой мягкий, кожа у него почти вся серая, кроме розового живота, он говорит, что это признак породы; когда он сидит, на животе его образуются три складки, но их шесть, а он считает две за одну и не желает признавать остальные». Вспомнив вдруг Риретту, она почувствовала раздражение: «Люлю, вы не знаете, что такое настоящее мужское тело». «Это смешно, конечно, я знаю, что это такое, она хочет сказать — тело твердое, как из камня, мускулистое, но мне это не нравится, такое тело было у Паттерсона, и я чувствовала себя мягкой, словно гусеница, когда он прижимал меня к себе; я вышла за Анри потому, что он был такой мягкий и был похож на священника. Священники в своих сутанах нежные‑пренежные, как женщины, и кажется, что они носят чулки. Когда мне было пятнадцать лет, мне хотелось, осторожно подняв подол сутаны, увидеть их мужские колени и кальсоны, мне казалось смешным, что у них есть кое‑что между ног; одной рукой я придерживала бы сутану, другую бы подняла по ноге вверх, до того места, — мне не слишком нравятся женщины, мне нравится мужская штучка: под сутаной она такая мягкая, словно махровый цветок. Но на самом деле эту штучку невозможно взять в руки, вот если бы она оставалась спокойной, но она начинает шевелиться, как зверек, твердеть, что меня и пугает; когда она твердая и торчит вверх, это грубо; да, какая же она грязная, эта любовь! Анри я полюбила за то, что его штуковинка никогда не твердела, не поднимала головку, мне было смешно, я целовала ее иногда, я боюсь ее не больше, чем штучки какого‑нибудь ребенка; ночью я брала ее маленькое нежное тельце в свою руку; Анри краснел и, вздыхая, отворачивал голову, но штучка недвижна, ведет себя очень послушно в моей руке, я ее крепко не сжимаю, и мы долго лежим так, пока он не засыпает. И тогда я переворачиваюсь на спину и начинаю думать о священниках, о чистых вещах, о женщинах и сперва ласково глажу живот, мой красивый гладкий живот, затем опускаю руку все ниже, ниже, и — наступает наслаждение; это наслаждение доставлять себе умею только я сама».

У него были курчавые волосы, как у негра. И тоска сжала ее за горло. Но она сильно зажмурила веки, и перед ней наконец появилось ухо Риретты, золотисто‑розовое ушко, похожее на леденец. Увидеть его Люлю было не столь приятно, как обычно, ибо она сразу, вслед за этим, услышала голос Риретты. Это был резкий и четкий голос, который Люлю не нравился. «Вы должны уехать с Пьером, моя маленькая Люлю, это единственная разумная вещь, что вам следует сделать». «Я очень привязана к Риретте, но она слегка раздражает меня, когда бывает такой самоуверенной и приходит в восторг от своих слов. В прошлый раз в «Куполь» Риретта с рассудительным и чуть растерянным видом объявила: «Вы не можете оставаться с Анри, потому что не любите его больше, это было бы преступлением». Она не упускает случая сказать что‑нибудь злое про него, и, по‑моему, это не слишком любезно с ее стороны, ведь он всегда вел себя с ней безупречно; возможно, я его больше не люблю, но не Риретте говорить мне об этом; у нее всегда все просто и легко: любишь или перестаешь любить, но я не такая простая. Во‑первых, я привыкла к дому, а потом я очень его люблю, он ведь мой муж. Мне хотелось бы поколотить ее, и мне всегда хочется больно ее ущипнуть, потому что она такая жирная. «Это было бы преступлением». Она поднимает руку, и я вижу ее подмышку, мне больше нравится, когда у нее обнаженные руки». Подмышка. Она раскрывается, словно рот, и Люлю видит розоватую кожу, чуть морщинистую, покрытую вьющимся пушком, похожим на волосы; Пьер называет ее «пухленькой Минервой», хотя ей это совсем не нравится. Люлю улыбнулась, так как вспомнила о своем младшем брате Роберте, который спросил ее однажды, когда она стояла в комбинации: «Почему у тебя под руками волосы?» — а она ответила: «Это болезнь». Она очень любила одеваться в присутствии брата, потому что он всегда делал забавные замечания; интересно, где он всего этого набрался. Ему нравилось трогать вещи Люлю, он тщательно складывал ее платья; у него такие проворные руки, в будущем он может стать знаменитым модельером. «Прекрасная профессия, а я буду придумывать для него рисунки тканей. Странно, что ребенок мечтает стать женским портным; будь я мальчиком, я, наверное, захотела бы стать путешественником или актером, но уж никак не портным; он всегда был фантазером, не слишком разговорчивым, но очень целеустремленным; я же хотела бы стать сестрой‑монахиней и собирать пожертвования в богатых домах. Я чувствую все большую слабость в глазах, вялость в теле, я засыпаю. Мое красивое бледное лицо под чепцом приобрело бы аристократический вид. Я побываю в сотнях темных прихожих. Но прислуга сразу же включит свет, и я увижу фамильные портреты, бронзовые статуэтки на столиках. И вешалки. Хозяйка выйдет с маленьким блокнотом и пятидесятифранковой банкнотой: «Вот, сестра, возьмите». — «Благодарю, мадам, Господь да благословит вас. До свидания». Но, конечно, я не стала бы настоящей сестрой. Изредка в автобусе я подмигну какому‑нибудь типу; сперва он будет ошеломлен, затем пойдет за мной, шепча по пути всякие глупости, а я сдам его полицейскому. Деньги от пожертвований я оставлю себе. Что же я на них куплю? ПРОТИВОЯДИЕ. Чушь. Глаза мои расслабляются, и это мне приятно, кажется, будто их смочили водой, а тело мое охвачено сладкой истомой. Прекрасная зеленая тиара с изумрудами и лазуритами». Тиара крутилась, крутилась и стала ужасной бычьей головой, но Люлю ее не боится, она шепчет: «Секурж. Птицы Кантала. Замри». Длинная красная река тянется через безводные равнины. Люлю думала о своей механической мясорубке, потом о бриолине.

«Это было бы преступлением!» Она вздрогнула и присела на кровати, вглядываясь суровыми глазами в темноту. «Они меня мучают, неужели они не видят этого? Риретта, конечно, делает все с добрыми намерениями, но она, такая рассудительная в отношении других, должна же все‑таки понимать, что мне необходимо подумать. Он сказал мне: «Ты придешь!», глядя на меня пылающими глазами. «Ты придешь в мой дом, я хочу всю тебя». Я боюсь его глаз, когда он строит из себя гипнотизера, до боли сжимая мне руку; когда я вижу эти его глаза, то всегда вспоминаю, что у него волосатая грудь. Ты придешь, я хочу всю тебя, как можно такое говорить? Я же не собака.

Когда я села, то улыбнулась ему, сменила для него пудру и подвела глаза, потому что так ему нравится, но он ничего не заметил, он не смотрит на мое лицо, а пялится на мои груди; мне хотелось, чтобы они усохли ему назло, хотя груди у меня не такие уж большие, совсем маленькие. «Ты будешь жить на моей вилле в Ницце». Он сказал, что она белая, с мраморной лестницей и выходит на море и что целый день мы будем ходить совершенно голыми; наверно, ужасно смешно голой подниматься по лестнице; я заставлю его идти впереди, чтобы он не смотрел на меня, иначе я ногой не смогу пошевельнуть, буду стоять как вкопанная и всей душой желать, чтобы он ослеп; впрочем, ничего почти для меня не изменится: когда он рядом, мне кажется, будто я раздета. Он взял меня за руку и со злым выражением лица сказал: «Ты хочешь меня!», и мне стало страшно, и я ответила: «Да». — «Я хочу сделать тебя счастливой, мы будем путешествовать на автомобиле, на корабле, мы поедем в Италию, и я дам тебе все, чего ты пожелаешь». На его вилле почти нет мебели; мы будем спать на матраце на полу. Он хочет, чтобы я спала в его объятиях и чувствовала его запах; мне понравилась бы его грудь, потому что она смуглая и широкая, хотя и волосатая; я хотела бы, чтоб у мужчин не было волос, а у него они черные и мягкие, словно мох, иногда я их глажу, порой же они меня пугают, и я стараюсь отодвинуться от него как можно дальше, но он прижимает меня к себе. Он захочет, чтобы я засыпала в его объятиях, будет крепко сжимать меня в своих руках, а я чувствовать его запах; когда стемнеет, мы услышим шум моря, но он способен разбудить меня среди ночи, если ему вдруг приспичит, — я больше никогда не смогу спать спокойно, разве что во время месячных, потому что тогда он все‑таки будет оставлять меня в покое, а ведь, говорят, есть мужчины, что проделывают это с женщинами, у которых недомогания, а после этого у них на животе остается кровь, чужая кровь, и она на простынях, повсюду, о, какая мерзость, и почему так устроено, что у нас есть тела?»

Люлю открывает глаза; занавески стали красными от света, который проникает с улицы, зеркало отсвечивает красным; Люлю нравится этот красный свет и силуэт кресла, вырисовывающийся на фоне окна. На ручках кресла Анри разложил свои брюки, и подтяжки висят в пустоте. «Надо мне купить ему резинки для подтяжек. Ох! я не могу, не хочу уходить. Он целый день будет меня целовать, и я буду его, буду приносить ему радость, он будет смотреть на меня; он думает: «Это моя радость, я могу трогать ее и тут и там где только ни захочу и могу повторить все сначала когда только ни захочу». Как в Пор‑Ройяле». Люлю забила ногами по одеялу, она ненавидела Пьера, когда вспоминала о том, что случилось в Пор‑Ройяле. Она зашла за изгородь; она думала, что он сидит в авто и изучает карту, и вдруг она его увидела, он крался за ней неслышно, как кошка, он смотрел на нее. Люлю толкнула ногой Анри; этот хоть сейчас проснется. Но Анри тяжело вздохнул, но не проснулся. «Я бы хотела познакомиться с красивым юношей, чистым, как девушка; мы бы не прикасались друг к другу, гуляли бы по берегу моря, держась за руки, а ночью ложились бы в отдельные кровати, как брат и сестра, и говорили бы до утра. А еще лучше, если бы мы жили с Риреттой, это так очаровательно, когда женщины без мужчин; плечи у нее полные и гладкие; как я была несчастна, когда она полюбила Френеля, и меня волновала мысль, что он ласкает ее, медленно водя рукой по плечам и бокам, а она тяжело дышит. Я старалась представить, какое у нее лицо, когда она лежит вот так, совсем нагая, под мужчиной и ощущает руки, которые шарят по ее телу. Я ни за что на свете не дотронулась бы до нее, я не знала бы, что с ней делать, даже пожелай она этого, даже скажи мне: «Я хочу», я не сумела бы, но если б я была невидимкой, я хотела бы быть рядом, когда с ней делают это, и видеть ее лицо (я удивилась бы, если она выглядела бы как Минерва), и ладонью легко ласкать ее раздвинутые розовые колени, слышать ее стоны». Люлю с пересохшим горлом издала короткий смешок — и такое иногда лезет в голову. Однажды она представила, что Пьер хотел изнасиловать Риретту. «А я ему помогла, обняв ее. А вчера. У нее горели щеки, мы сидели с ней на диване, прижавшись друг к другу, ноги ее были плотно сдвинуты, мы молчали, мы никогда не скажем об этом». Анри снова захрапел, и Люлю свистнула. «Я лежу рядом, не могу уснуть, чуть с ума не схожу, а этот болван дрыхнет — и хоть бы хны. Если бы он обнял меня, умолял, если бы говорил: «Ты для меня все, Люлю, я люблю тебя, не уходи!», я пошла бы на эту жертву, осталась бы, да, осталась с ним на всю жизнь, лишь бы сделать ему приятное».

## II

Риретта села на террасе кафе «Дом» и заказала портвейн. Она чувствовала себя усталой и была сердита на Люлю:

«…Их портвейн отдает пробкой, Люлю все посмеивается надо мной, потому что предпочитает кофе, но нельзя же пить кофе в час аперитива; тут целыми днями пьют кофе или же кофе со сливками, ведь у них нет ни гроша за душой, что, должно быть, очень их злит, а я бы не вынесла, разнесла бы всю их лавочку прямо на глазах у клиентов, они не те люди, с которыми стоит слишком церемониться. Не понимаю, почему она всегда назначает мне свидания на Монпарнасе, в конце концов, ей было бы ничуть не дальше ехать, если б мы встречались в «Кафе де ля Пе» или в «Пам‑Пам», и мне не приходилось бы таскаться с работы в такую даль; слов не нахожу, как меня раздражает видеть все время эти рожи, хотя, как у меня выпадает минутка, я прихожу сюда; здесь, на террасе, еще куда ни шло, но внутри… там пахнет грязным бельем, а я презираю неудачников. Даже на террасе я чувствую себя не в своей тарелке, потому что у меня слишком приличный вид, что должно удивлять прохожих, которые видят меня среди этих небритых мужчин и женщин, выглядящих черт знает как. Они, наверно, думают: «А эта‑то чего здесь торчит?» Конечно, я отлично знаю, что летом сюда частенько заглядывают богатые американцы, но, кажется, все они сейчас в Англии, благодаря нашему дорогому правительству, потому и идет так плохо торговля предметами роскоши, ведь я не смогла продать и половины того, что продала в это время в прошлом году, и могу представить, как идут дела у остальных, если я еще лучшая продавщица, как мадам Дюбек сказала, мне жалко крошку Ионель, она совсем не умеет торговать, и, наверное, она не заработала ни гроша сверх зарплаты; когда весь день на ногах, хочется немного отдохнуть в каком‑нибудь уютном местечке, где было бы немного шика, немного искусства и хорошо вышколенный персонал; чтобы можно закрыть глаза и забыть обо всем, и чтобы играла тихая музыка, и не так уж дорого ходить время от времени на танцы в «Амбассадер»; а здесь официанты такие нахальные, сразу видно, что они имеют дело со всяким сбродом, кроме маленького брюнета, который меня обслуживает, этот очень мил; Люлю, наверно, нравится видеть себя в окружении всех этих мужчин, а пойти в более шикарное место она бы побоялась, она робеет перед мужчиной с хорошими манерами, поэтому ей не нравился Луи; а тут, по‑моему, она чувствует себя непринужденно, ведь здесь бывают такие, кто не носит даже воротничков, все эти бедняки курят трубки и пожирают вас глазами, даже не пытаясь скрыть это, сразу видно, что им не на что взять женщину, а уж этого‑то добра здесь, в квартале, хватает, до омерзения; они готовы сожрать вас взглядом, но даже не способны сказать вам вежливо, чего они хотят, повернуть дело так, чтобы сделать вам приятное».

Подошел официант:

— Вам только портвейн, мадемуазель?

— Да. пожалуйста.

Он добавил любезно:

— Чудесная погода!

— Пора уже, — сказала Риретта.

— Ну да, а ведь казалось, что зима никогда не кончится.

Он ушел, и Риретта проводила его взглядом. «Мне нравится этот парень, — думала она, — он знает свое место, не фамильярен, у него всегда найдется доброе слово для меня, небольшой, но особенный знак внимания».

Молодой мужчина, худой и сутулый, нагло смотрел на нее; Риретта повела плечами и повернулась к нему спиной. «Если хочешь строить глазки женщинам, надо хотя бы иметь чистое белье. Я так и скажу ему, если он попробует со мной заговорить. Интересно, почему она от него не уходит. Она не хочет огорчать Анри, по‑моему, это слишком красиво: женщина не имеет права калечить свою жизнь ради какого‑то импотента». Риретта физически не выносила импотентов. «Она должна уйти, решила она, на карту поставлено ее счастье, я прямо скажу ей, что нельзя играть своим счастьем: «Люлю, вы не имеете права играть своим счастьем». И вовсе ничего я ей не скажу, хватит, сотни раз я твердила ей об этом, человека нельзя сделать счастливым, если он сам этого не хочет». Риретта ощущала в голове ужасную пустоту, потому что она сильно устала, смотрела на портвейн в бокале, похожий на расплавленную карамель, и какой‑то голос в душе повторял ей: «Счастье, счастье», и это было прекрасное, трогательное и серьезное слово, и она подумала, что, если бы спросили ее мнение на конкурсе газеты «Пари‑Суар», она бы сказала, что это самое красивое слово во французском языке. «Интересно, думал ли кто‑нибудь об этом? Они называли «энергия, мужество», но это потому, что они мужчины, надо было бы, чтоб в конкурсе участвовала и женщина, только женщины могут угадать это слово, и следовало бы учредить две премии, одну для мужчин, и самым красивым словом считать бы Честь, другую для женщин, ее выиграла бы я, назвав слово Счастье; Честь и Счастье ведь рифмуются, это забавно. «Я ей скажу: «Люлю, вы не имеете права упускать свое счастье. Ваша счастье, Люлю, Счастье». Мне, например, Пьер очень нравится, во‑первых, настоящий мужчина, и к тому же умница, что делу не мешает, у него есть деньги, и он будет о ней заботиться. Он из тех мужчин, кто умеет сглаживать маленькие неудобства жизни, это так приятно женщине; мне страшно нравится, когда мужчина умеет себя поставить, это мелочь, но он умеет разговаривать с официантами, с метрдотелями; они его слушаются, и я называю это «иметь характер». Наверно, именно этого как раз больше всего недостает Анри. И надо же не забывать о здоровье, с таким папашей, какой у нее был, она должна бы строже следить за собой, конечно, это прелестно — быть худенькой и изящной, не знать ни голода, ни сна, спать по четыре часа в сутки и носиться целыми днями по Парижу, пристраивая эти свои эскизы тканей, но это же безумие, ей необходимо соблюдать правильный режим, есть понемногу, кстати, что и мне бы не помешало, но часто и в определенные часы. Будет поздно, когда ее упекут лет на десять в какой‑нибудь санаторий».

Она с недоумением посмотрела на часы на углу бульвара Монпарнас, стрелки которых показывали двадцать минут двенадцатого. «Не понимаю я Люлю, странный у нее характер, я никогда не могла понять, любит она мужчин или они ей противны; но уж Пьером она должна быть довольна, он хотя бы заставит ее забыть о ее прошлогоднем мужике, ее Рабю, которого я называла Ребю[[1]](#footnote-1)». Воспоминание это ее развеселило, но она сдержала улыбку, так как худой молодой мужчина, не отрываясь, смотрел на нее; она повернула голову, перехватила его взгляд. У Рабю все лицо было усеяно маленькими черными точками, и Люлю доставляло удовольствие удалять их, сдавливая кожу ногтями. «Это омерзительно, но в этом не ее вина, Люлю понятия не имеет, что такое шикарный мужчина, а я обожаю изысканных мужчин прежде всего, они так хороши, добротные вещи мужчин, их рубашки, туфли, роскошные цветастые галстуки, мужчины грубы, если хотите, но зато так приятна их сила, их нежная сила, это как запах их английских сигарет, одеколона, их лица, когда оно гладко выбрито, это не… это не женская кожа, мужская кожа похожа на сафьян, а их сильные руки охватывают вас, вы опускаете голову им на грудь, чувствуете нежный, резкий запах ухоженного мужчины, они нашептывают что‑то ласковое; на них хорошие вещи, красивые жесткие туфли из телячьей кожи, они шепчут вам: „Дорогая, милая моя девочка“, и вы чувствуете, что сдаетесь, — Риретта вспомнила Луи, который бросил ее в прошлом году, и сердце у нее сжалось: он был мужчина, который знал себе цену и имел массу маленьких причуд — перстень с печаткой, золотой портсигар, свои мелкие мании… — правда, эти мужчины бывают такими занудными, иногда хуже женщин. Самое лучшее было бы завести мужчину лет сорока, который бы еще следил за собой, с волосами, зачесанными назад и уже седеющими на висках, подтянутого, широкоплечего, очень спортивного, но знающего жизнь и доброго, потому что он много страдал. Люлю настоящий ребенок, ей повезло еще, что у нее такая подруга, как я, ведь Пьеру все это начинает надоедать, другие на моем месте непременно бы этим воспользовались, ну а я все время советую ему потерпеть, и, когда он бывает слишком нежен со мной, я делаю вид, что ничего не замечаю, завожу разговор о Люлю и всегда нахожу слова, чтобы подчеркнуть ее достоинства, но она не заслуживает своего счастья, она просто его не ценит, я желаю ей пожить немного одной, как я живу после ухода Луи, она бы узнала, каково возвращаться вечером одной, отработав целый день, и находить пустую квартиру, умирая от желания положить голову к кому‑нибудь на плечо. Спрашиваешь себя, где находятся силы, чтобы заставить себя подняться на следующее утро, и опять идти на работу, и быть обольстительной и веселой, и заражать мужеством окружающих, тогда как тебе самой хотелось бы лучше умереть, чем продолжать эту жизнь».

Часы пробили половину двенадцатого. Риретта думала о счастье, о синей птице, о птице счастья, о вольной, как птица, любви. Она вздрогнула: «Люлю опаздывает на полчаса, это нормально. Она никогда не бросит мужа, на это у нее воли не хватит. Собственно, она живет с Анри только из приличия: она его обманывает, но пока к ней обращаются «мадам», она думает, что это в порядке вещей. Она рассказывает про него ужасные вещи, но не дай Бог повторить ей все это наутро, она лопнет от возмущения. Я сделала для нее все, что могла, высказала ей все, что хотела ей сказать, тем хуже для нее».

Такси остановилось перед кафе «Дом», и из него вылезла Люлю. Она тащила большой чемодан, и выражение лица у нее было каким‑то торжественным.

— Я ушла от Анри, — издалека закричала она.

Она подошла, сгибаясь под тяжестью чемодана. Она улыбалась.

— Неужели, Люлю? — спросила с изумлением Риретта. — Не хотите ли вы сказать?..

— Да, все решено, — ответила Люлю, — я его бросила.

Риретта все еще не верила:

— Он знает? Вы ему сказали?

Глаза у Люлю помрачнели.

— Еще как сказала! — воскликнула она.

— Вот и хорошо, моя маленькая Люлю!

Риретта не знала, что и думать, но предположила, что в таких обстоятельствах Люлю, по‑видимому, необходима поддержка.

— Это отлично, — сказала она, — вы просто молодчина.

Ей хотелось прибавить: вот видите, как все легко, но она сдержалась. Люлю вызывала восхищение: щеки ее раскраснелись, глаза горели. Она села и поставила рядом чемодан. Она была в сером шерстяном пальто с кожаным поясом и светло‑желтой водолазке. Она была с непокрытой головой. Риретте не нравилось, когда Люлю выходила на улицу без шляпки; она тотчас поняла, что Люлю охвачена странным смешанным чувством стыда и радости. Люлю всегда вызывала у Риретты такое чувство. «Больше всего в ней мне нравится ее жизнелюбие», — подумала Риретта.

— Все было сделано в два счета, — сказала Люлю. — Я высказала ему все, что у меня накипело на душе. Он стоял, как чокнутый.

— Я в себя прийти не могу, — сказала Риретта. — Но что это на вас нашло, Люлю, крошка моя? Вчера вечером я бы голову отдала на отсечение, что вы от него не уйдете.

— Это из‑за моего братика. Со мной пусть он строит из себя кого угодно, но я не могу терпеть, чтобы он обижал моих родных.

— Но как же все произошло?

— Где же официант? — спросила Люлю, крутясь на стуле. — Официантов в «Дом» никогда не дозовешься. Нас обслуживает вон тот маленький брюнет?

— Да, — подтвердила Риретта. — А знаете ли вы, что я ему нравлюсь?

— Вот как! Отлично, но остерегайтесь смотрительницы в туалете, он все время торчит у нее. Он ухаживает за ней, но, по‑моему, это лишь предлог, чтобы наблюдать за дамами, которые заходят в кабинки; когда они выходят, он смотрит им прямо в глаза, чтобы вогнать их в краску. Кстати, я вас покину на минутку, мне надо пойти позвонить Пьеру, представляю, как он удивится! Если увидите официанта, закажите мне кофе со сливками; я скоро вернусь и все вам расскажу.

Она встала, прошла несколько шагов и вновь вернулась к Риретте.

— Я ужасно счастлива, Риретта, дорогая моя.

— Милая Люлю, — растрогалась Риретта, беря ее за руки.

Высвободившись, Люлю легкой походкой пересекла террасу.

Риретта смотрела на ее удаляющуюся фигурку. «Я ни за что не подумала бы, что она на это способна. Как она радуется, — думала слегка шокированная Риретта, — что ей удалось бросить мужа. Если бы она слушалась меня, все случилось бы гораздо раньше. Но как бы там ни было, все это благодаря мне, в сущности, я сильно влияю на нее».

Через несколько минут Люлю вернулась.

— Пьер проглотил язык от удивления, — сказала она. — Он хотел узнать подробности, но я совсем скоро все ему расскажу, я ведь обедаю с ним. Он сказал, что мы, может быть, сможем уехать завтра вечером.

— Как я за вас рада, Люлю, — сказала Риретта. — Ну, рассказывайте скорее. Вы все решили этой ночью?

— Знаете, я ничего не решала, — скромно возразила Люлю, — все получилось само собой. — Она нервно постучала по столику. — Гарсон, гарсон! Этот официант совсем меня замучил, я хочу кофе со сливками.

Риретта была шокирована: на месте Люлю и в столь серьезных обстоятельствах ей было бы не до кофе со сливками. Люлю, конечно, очень мила, но удивительно, что порой она легкомысленна, как птичка.

— Если бы вы видели рожу Анри! — фыркнула от смеха Люлю.

— Меня беспокоит, что скажет ваша мать, — серьезно сказала Риретта.

— Моя мать? Она будет сча‑стли‑ва,— с уверенным видом сказала Люлю. — Он был груб с ней, знаете, она им сыта по горло. Всегда упрекал ее за то, что я дурно воспитана, что я такая и сякая, и сразу видно, что воспитание у меня плебейское. Знаете, отчасти я ушла от него и из‑за мамы.

— Но что же случилось?

— Что? Он дал пощечину Роберу.

— Значит, Робер был у вас?

— Да, проходил мимо и зашел утром, мама хочет отдать его в ученики Гемпезу. Кажется, я вам об этом говорила. Короче, он пришел, когда мы завтракали, и Анри дал ему пощечину.

— За что? — спросила Риретта с легким раздражением. Она терпеть не могла манеру Люлю бессвязно рассказывать истории.

— Они о чем‑то поспорили, — сказала Люлю неопределенно, — а малыш ему не уступил. Он его не испугался. «Старый дурак», — бросил он ему прямо в лицо. Потому что Анри, естественно, назвал его грубияном, он только и твердит об этом; я со смеху помирала. Тут Анри встал, мы завтракали в студии, и дал Роберу пощечину, за это я бы убила Анри своими руками!

— И вы ушли?

— Ушла, — удивилась Люлю, — куда?

— Я думала, что именно в этот момент вы и ушли. Послушайте, милая моя Люлю, расскажите мне все по порядку, а то я ничего не понимаю. Скажите, — прибавила она, что‑то заподозрив, — вы в самом деле ушли от него?

— Ну да, я целый час толкую вам об этом.

— Ладно. Итак, Анри ударил Робера. А дальше?

— Дальше, — сказала Люлю, — я заперла его на балконе, это было очень смешно! Он был еще в пижаме, стучал по стеклу, но боялся разбить его, потому что скупой, как вошь. Я бы на его месте все перебила, даже если б и порезалась до крови. Затем притащились Тексье. И тогда он стал улыбаться мне через дверь, стараясь все выдать за шутку.

Прошел официант; Люлю схватила его за руку:

— Гарсон, ну куда вы пропали? Не затруднит ли вас подать мне кофе со сливками?

Риретта чувствовала себя неловко и заговорщицки, едва заметно улыбнулась официанту, но тот остался серьезно‑мрачным и услужливо поклонился, исполненный укоризны. Риретта немного злилась на Люлю: та никогда не умела взять с подчиненными нужный тон, то вела себя слишком фамильярно, то держалась чересчур требовательно и сухо.

Люлю засмеялась.

— Мне смешно, потому что вспомнила Анри в пижаме на балконе, он дрожал от холода. Знаете, как я его там заперла? Он стоял в глубине комнаты, Робер плакал, а он читал ему нотации. Я вышла на балкон и крикнула: «Смотри‑ка, Анри, такси сбило цветочницу». Он подошел и стал рядом со мной: он обожает цветочницу, потому что она швейцарка, и еще ему кажется, что она влюблена в него. «Где? где?» — спрашивал он. Я тихонечко отодвинулась, вошла в комнату и закрыла дверь. И крикнула ему через стекло: «Будешь знать, как издеваться над моим братом». Больше часа я продержала его на балконе, он смотрел на нас вытаращенными глазами, посинев от злости. Я показывала ему язык и кормила Робера конфетами; потом принесла в студию свои вещи и стала одеваться прямо перед Робером, потому что знала, что Анри этого не выносит: Робер целовал мне руки и шею, как настоящий маленький мужчина, просто прелесть; мы вели себя так, будто Анри вообще нет на свете. Из‑за этого я даже умыться забыла.

— А Анри торчал за стеклом. Просто умора, — громко рассмеялась Риретта.

Люлю перестала смеяться.

— Боюсь, как бы он не простудился, — серьезно сказала она, — когда человек в ярости, ему все нипочем. — И, снова повеселев, продолжала: — Он нам грозил кулаками и все время что‑то говорил, но я не разобрала и половины. Потом Робер ушел, и тут же позвонили Тексье; я их впустила. Когда Анри увидел их, он расплылся в улыбке, раскланивался с ними на балконе, а я им сказала: «Взгляните на моего мужа, сокровище мое, правда, он похож на рыбку в аквариуме?» Тексье поздоровались с ним через стекло, они были слегка озадачены, но они умеют себя держать.

— Я словно вижу все это, — рассмеялась Риретта. — Ха‑ха! Ваш муж на балконе, а Тексье — в студии! — Она повторяла несколько раз: «Ваш муж на балконе, а Тексье — в студии…» Ей хотелось найти смешные и выразительные слова, чтобы описать сцену Люлю, она считала, что у Люлю нет чувства юмора. Но слова не нашлись.

— Я открыла балконную дверь, — сказала Люлю, — и вошел Анри. Он поцеловал меня перед Тексье и назвал маленькой плутовкой. «Маленькая плутовка, — повторил он, — надумала подшутить надо мной». Я улыбалась, Тексье расплылись в вежливой улыбке, все улыбались. Но когда Тексье ушли, он меня ударил кулаком по уху. Тогда я схватила щетку и огрела его по лицу: разбила ему губы.

— Бедняжка Люлю, — ласково сказала Риретта.

Но Люлю жестом отвергла всякое сочувствие. Она держалась прямо, с воинственным видом тряся каштановыми кудряшками, глаза ее метали молнии.

— И вот тут мы и объяснились: я вытерла ему губы салфеткой и сказала, что он мне надоел, что я его больше не люблю и ухожу. Он расплакался и сказал, что покончит с собой. Но на меня это уже не действует: вы помните, Риретта, в прошлом году эти его басни о Рейнской области, он каждый день пел все ту же песенку, что, мол, скоро начнется война. Люлю, меня мобилизуют, и я погибну на фронте, ты будешь жалеть обо мне, тебя замучает совесть за все те горести, что ты мне причинила. «Успокойся, — ответила я, — ты импотент и тебя не призовут». Потом я успокоила его, потому что он сказал, будто запрет меня на ключ в студии, и поклялась ему, что уйду не раньше, чем через месяц. После этого он ушел к себе в кабинет, у него были красные глаза и пластырь на губе — хорош красавчик. Ну а я немного прибралась, поставила разогревать чечевицу на плиту и собрала чемодан. И на кухонном столике оставила ему записку.

— Что же вы ему написали?

— Я написала так, — гордо сказала Люлю, — «Чечевица стоит на плите. Поешь и выключи газ. В холодильнике ветчина. С меня довольно, я ухожу. Прощай!»

Они рассмеялись так громко, что на них оглядывались прохожие. Риретта подумала, что они, должно быть, представляли очаровательное зрелище, и пожалела, что они не сидят на террасе кафе «Вьель» или «Кафе де ля Пе». Перестав смеяться, они замолчали, и Риретта вдруг поняла, что им больше нечего сказать друг другу. Она была немного разочарована.

— Мне надо бежать, — сказала Люлю, вставая, — в двенадцать у меня встреча с Пьером. Что же мне делать с чемоданом?

— Оставьте его мне, — предложила Риретта, — я отдам его на хранение смотрительнице туалета. И когда я вас снова увижу?

— Я зайду к вам в два часа, мне нужно сделать с вами кучу покупок: я не взяла и половины своих вещей, надо, чтобы Пьер дал мне денег.

Люлю ушла, а Риретта подозвала официанта. Она чувствовала какую‑то тяжесть и грусть за обеих. Официант подбежал, Риретта давно уже заметила, что он всегда спешил подойти, когда она звала его.

— С вас пять франков, — сказал он. И немного сухо добавил: — Вам было так весело вдвоем, ваш смех был слышен внизу.

Люлю его обидела, с досадой подумала Риретта. И сказала, покраснев:

— Моя подруга сегодня с утра слегка нервничает.

— Она очаровательна, — с чувством возразил официант. — Благодарю вас, мадемуазель.

Он опустил в карман шесть франков и удалился. Риретта несколько удивилась, но пробило полдень, и она подумала о том, как Анри возвращается домой и находит записку Люлю, и на мгновение ее охватил прилив нежности.

— Я хотела бы, чтобы вы принесли все это завтра днем в отель «Театральный», улица Вандам, — сказала Люлю кассирше с видом важной дамы. Она повернулась к подруге:

— Вот и все, Риретта, никаких хлопот.

— На чье имя? — спросила кассирша.

— Мадам Люсьена Криспен.

Люлю перекинула пальто через руку и помчалась вниз; она сбежала по главной лестнице универмага «Самаритен». Риретта, стараясь не отстать, несколько раз чуть не упала, так как не смотрела под ноги, — она не отрывала глаз от танцующей перед ней голубой и канареечно‑желтой тоненькой фигурки. «У нее и вправду непристойное тело…» Всякий раз, когда Риретта смотрела на Люлю со спины или в профиль, она поражалась непристойности ее форм, но никак не могла уяснить себе почему; такое создавалось впечатление. «Люлю, гибкая и тонкая, но есть в ней что‑то неприличное, хотя я не понимаю что. Наверное, потому, что она всегда старается носить вещи в обтяжку. Она говорит, что стыдится своего зада, и носит юбки, которые вызывающе облегают ягодицы. Зад у нее маленький, это верно, меньше, гораздо меньше, чем у меня, но он больше бросается в глаза. Он круглый под тонкой талией, но хорошо наполняет юбку, можно подумать, что его нарочно в нее вложили; и потом, он такой вертлявый».

Люлю обернулась, и они улыбнулись друг другу. Риретта думала о нескромном теле своей подруги с каким‑то смешанным чувством осуждения и нежности: эти маленькие торчащие груди, гладкая, немного смуглая кожа — если коснуться ее, наверняка покажется, что она резиновая, — эти узкие бедра, высокое дерзкое тело с тонкими конечностями. «Тело негритянки, — думала Риретта, — она похожа на негритянку, танцующую румбу». Зеркало возле входной двери отразило ее пышные формы. «Я более спортивная, — подумала Риретта, беря Люлю под руку, — она выглядит более эффектно, когда мы в вечерних платьях, но в обнаженном виде я наверняка буду смотреться лучше».

Они с минуту молчали, затем Люлю сказала:

— Пьер был так мил. И вы тоже очень милы, Риретта, я очень благодарна вам обоим.

Она выговорила это с принужденным видом, но Риретта не обратила никакого внимания: Люлю никогда не умела благодарить, она была слишком застенчивой.

— Мне все это надоело, — сказала вдруг Люлю, — хотя мне и необходимо купить бюстгальтер.

— Здесь? — спросила Риретта. Они как раз проходили мимо бельевого магазина.

— Нет. Но я вспомнила об этом, когда его увидела. За бюстгальтерами я пойду к Фишеру.

— На бульвар Монпарнас?! — воскликнула Риретта. — Будьте осторожны, Люлю, — посоветовала она серьезно, — вам не стоит часто бывать на бульваре Монпарнас, особенно в это время. Мы можем встретить Анри, что было бы ужасно неприятно.

— Анри? — спросила Люлю, пожав плечами. — Да нет, почему же?

Негодование красной краской залило щеки и лоб Риретты.

— Вы не меняетесь, милая моя Люлю, если вам что‑то не по душе, вы это отрицаете — просто и ясно. Вы хотите пойти к Фишеру и уверяете меня, что Анри по бульвару Монпарнас не ходит. Вы отлично знаете, что он всегда проходит там в шесть часов, это его путь. Ведь вы сами мне говорили: он поднимается по улице Ренн и ждет автобуса на углу бульвара Распай.

— Во‑первых, сейчас только пять, — возразила Люлю,— а во‑вторых, он, наверно, не пошел на службу: после того, что я ему написала, он должен был лечь спать.

— Но, Люлю, — сказала вдруг Риретта, — есть другой Фишер, как вам известно, рядом с Опера, на улице дю Катр‑Септамбр.

— Да, — согласилась Люлю как‑то вяло, — но туда идти надо.

— Ах! Вы мне нравитесь, моя крошка! Надо идти! Да ведь это в двух шагах, гораздо ближе, чем Монпарнас.

— Мне не нравится их товар.

Риретта с насмешкой подумала, что во всех магазинах Фишера продается одно и то же. Но у Люлю бывали приступы непонятного упрямства; Анри явно был именно тем человеком, с кем ей меньше всего хотелось бы сейчас встретиться, но, казалось, она нарочно стремилась попасться ему под ноги.

— Ну что ж, — снисходительно сказала она, — пойдемте на Монпарнас, впрочем, Анри такой высокий, что мы заметим его раньше, чем он нас.

— Ну и что из того, если он нам встретится? — спросила Люлю. — Встретимся, и все тут. Он нас не съест.

Люлю настояла, чтобы идти до Монпарнаса пешком, сказала, что ей нужно подышать свежим воздухом. Они прошли по улице де Сень, затем по улице Одеон и улице де Вожирар. Риретта расхваливала Пьера и доказывала Люлю, как безупречно он вел себя в этом деле.

— Как я люблю Париж, как я буду скучать по нему!

— Молчите, Люлю. Когда я думаю, что вам выпало счастье поехать в Ниццу, я не понимаю сожалений о Париже.

Люлю не ответила; она оглядывалась по сторонам с каким‑то печальным и чего‑то ищущим видом.

Выходя от Фишера, они услышали, что пробило шесть часов. Риретта взяла Люлю за локоть и хотела поскорее увести ее отсюда. Но Люлю остановилась возле цветочного магазина Баумана.

— Взгляните на эти азалии, моя милая Риретта. Будь у меня красивая гостиная, я бы всю ее заставила ими.

— Я не очень люблю цветы в горшках, — заметила Риретта.

Она была в отчаянии. Повернув голову в сторону улицы Ренн, она, естественно, через мгновение увидела перед собой высокую, нелепую фигуру Анри. Он был без шляпы, в спортивном твидовом пиджаке каштанового цвета. Риретта ненавидела этот цвет.

— Вот он, Люлю, собственной персоной, — быстро прошептала она.

— Где? Где? — спрашивала Люлю.

Она была взволнована не меньше Риретты.

— Позади нас, на той стороне. Бежим, и не оборачивайтесь.

И все же Люлю оглянулась.

— Я его вижу, — сказала она.

Риретта попробовала увлечь ее за собой, но Люлю словно окаменела и, не отрываясь, смотрела на Анри. Наконец она прошептала:

— По‑моему, он нас заметил.

Она выглядела испуганной и, как‑то сразу подчинившись Риретте, послушно позволила увести себя.

— Только ради Бога, Люлю, не оглядывайтесь больше, — сказала Риретта, слегка задыхаясь. — Мы свернем в ближайшую улицу направо, в улицу Деламбр.

Они шли очень быстро, то и дело толкая прохожих. Временами Риретте приходилось тащить за собой Люлю, но иногда та сама тянула вперед Риретту. Не успев еще дойти до угла улицы Деламбр, Риретта вдруг заметила позади Люлю большую коричневую тень; она поняла, что это Анри, и задрожала от гнева. Люлю шла с опущенными глазами, вид у нее был отрешенный и упрямый. «Теперь она жалеет о своей неосторожности, но слишком поздно — и тем хуже для нее».

Они ускорили шаг: Анри молча шел за ними. Они прошли улицу Деламбр и продолжали идти в сторону Обсерватории. Риретта слышала скрип туфель Анри; слышно было также что‑то вроде хрипа, легкого и размеренного, сопровождавшего их шаги, — это было дыхание Анри (Анри всегда дышал шумно, но никогда не дышал так громко; наверно, он бежал, чтобы нагнать их, или сильно разволновался).

«Надо сделать вид, будто его здесь нет, — подумала Риретта. — Притвориться, будто мы его не замечаем». Но она не могла сдержаться и украдкой наблюдала за ним. Он был белым, как полотно, а веки его были опущены так низко, что глаза казались почти закрытыми. «Он похож на лунатика», — не без страха подумала Риретта. Губы у Анри тряслись, и маленький, наполовину отклеившийся кусочек розового пластыря на нижней губе дрожал тоже. И еще дыхание, размеренные хриплые вздохи, которые заканчивались теперь тонким гнусавым присвистом. Риретте стало не по себе; Анри она не боялась, но болезнь и страсть всегда ее чуть пугали. Наконец Анри медленно, не глядя, вытянул руку и схватил Люлю за руку. Скривив рот, словно собираясь заплакать, та высвободилась, вся дрожа.

— Пфуух! — выдохнул Анри.

У Риретты появилось безумное желание остановиться: в боку у нее кололо, в ушах гудело. Но Люлю почти бежала; у нее тоже был вид лунатика. Риретте показалось, что если она отпустит руку Люлю и остановится, то эти двое будут продолжать бежать рядом, закрыв глаза, немые, бледные как мертвецы.

— Пошли домой, — сказал Анри странным хриплым голосом.

Люлю не ответила. Анри повторил тем же монотонным, хриплым голосом.

— Ты моя жена. Пошли домой.

— Вы же видите, что она не хочет возвращаться, — процедила Риретта сквозь зубы. — Оставьте ее в покое.

Он, казалось, ее не слышал и повторял:

— Я твой муж, я требую, чтобы ты пошла со мной.

— Я прошу вас оставить ее в покое, — резким тоном потребовала Риретта пронзительно, — вы ничего не добьетесь, если будете приставать к ней, проваливайте отсюда.

Он повернул к Риретте удивленное лицо.

— Это моя жена, — сказал он, — она принадлежит мне. Я хочу, чтобы она пошла домой.

Он взял Люлю за руку, но на этот раз она не отдернула руки.

— Уходите! — воскликнула Риретта.

— Я никуда не уйду, я пойду за ней повсюду, я хочу, чтобы она вернулась домой.

Он говорил с трудом. Но вдруг, состроив гримасу и обнажив зубы, он закричал изо всех сил:

— Ты принадлежишь мне!

Люди со смехом оборачивались. Анри тряс Люлю за руку и рычал как зверь, оскалив зубы. На счастье, мимо проезжало свободное такси. Риретта махнула рукой, и такси остановилось. Анри тоже остановился. Люлю хотела идти дальше, но они оба крепко держали ее за руки.

— Вы должны понять, — объясняла Риретта, таща Люлю к шоссе, — что не вернете ее этим насилием.

— Оставьте ее, оставьте мою жену, — кричал Анри и тянул ее к себе. Люлю обмякла, словно мешок с бельем.

— Вы садитесь или нет? — нетерпеливо крикнул водитель.

Отпустив Люлю, Риретта обрушила град ударов по рукам Анри. Но он, казалось, их не чувствовал. Однако отпустил руку Люлю и уставился на Риретту тупым взглядом. Риретта тоже смотрела на него. Она никак не могла собраться с мыслями, ее охватывало чувство необыкновенного отвращения. Несколько секунд они стояли так, глядя друг другу в глаза и тяжело дыша. Затем Риретта пришла в себя, обхватила Люлю за талию и потащила ее к такси.

— Куда ехать? — спросил водитель.

Анри пошел следом, хотел сесть с ними. Но Риретта со всей силой оттолкнула его и быстро захлопнула дверь.

— Прошу вас, поезжайте скорее, — попросила она водителя. — Адрес мы скажем потом.

Такси тронулось, и Риретта, расслабившись, откинулась на заднее сиденье. «Как все было пошло», — подумала она. Она ненавидела Люлю.

— Куда вы хотите поехать, милая Люлю? — нежно спросила она.

Люлю молчала. Риретта обняла ее и ласково говорила:

— Вы должны сказать мне. Хотите, я отвезу вас к Пьеру?

Люлю сделала движение, которое Риретта приняла за согласие. Она наклонилась вперед:

— Улица де Мессин, одиннадцать.

Когда Риретта опять повернулась к Люлю, та как‑то странно на нее смотрела.

— Что‑нибудь… — начала было Риретта.

— Я ненавижу вас, — закричала Люлю, — ненавижу Пьера, ненавижу Анри. Что вы ко мне привязались? Вы меня замучили.

Она вдруг замолчала, и лицо ее исказилось.

— Поплачьте, — со спокойным достоинством сказала Риретта, — поплачьте, и вам станет легче.

Люлю, согнувшись пополам, зарыдала. Риретта обвила ее руками и прижала к себе. Время от времени она поглаживала ее волосы. Но в душе она чувствовала лишь холод и презрение. Когда такси остановилось, Люлю уже успокоилась. Она вытерла глаза и напудрилась.

— Извините меня, — ласково попросила она, — это все нервы. Мне было невыносимо видеть его в таком состоянии, к тому же он сделал мне больно.

— Он был похож на орангутанга, — сказала успокоившаяся Риретта.

Люлю улыбнулась.

— Когда я вас снова увижу? — спросила Риретта.

— О, я думаю, что завтра. Вы знаете, Пьер не может взять меня к себе из‑за своей матери. Я сейчас в отеле «Театральный». Приходите рано утром, часов в десять, если сможете, потому что затем я должна пойти к маме.

Она была мертвенно‑бледной, и Риретта с грустью подумала о том, что Люлю так легко может сломаться.

— Постарайтесь вечером как следует отдохнуть, — попросила она.

— Я страшно устала, — сказала Люлю, — я надеюсь, что Пьер не задержит меня, хотя он никогда не понимает таких вещей.

Оставшись в такси, Риретта поехала к себе домой. На мгновенье она подумала, не пойти ли ей в кино, но настроение было не то. Она бросила шляпку на стул и шагнула к окну. Но кровать влекла ее к себе, такая белая, мягкая и свежая в своей непостижимой таинственности. Броситься в нее и почувствовать ласковое прикосновение подушки к пылающим щекам. «Я сильная, я все сделала для Люлю, а сейчас я совсем одна, и никто мне не поможет». Ей стало себя так жалко, что она ощутила, как рыдания подступают к горлу. «Они уедут в Ниццу, и я их больше не увижу. Я устроила их счастье, но они и не вспомнят обо мне. А я останусь здесь, буду работать по восемь часов в день, продавая фальшивый жемчуг у Бурма». Когда первые слезы скатились по ее щекам, она мягко опустилась на свою кровать. «В Ниццу, в Ниццу, — повторяла она, горько плача, — к солнцу, на Ривьеру…»

## III

«Брр!»

Ночь темная‑претемная. Кажется, что по комнате ходит кто‑то — мужчина в тапочках. Он осторожно ставит одну ногу, затем другую, но пол все равно слегка поскрипывает. Он останавливается, на мгновенье наступает тишина, затем, перебравшись неожиданно в другой конец комнаты, он снова, как маньяк, продолжает бесцельно слоняться по комнате. Люлю было холодно, одеяла слишком легкие. Она громко сказала: «Брр!», и ее напугал звук собственного голоса.

«Брр! Я уверена, что сейчас он смотрит на звездное небо, закуривает сигарету, он на улице, он сказал, что ему нравится сиреневый оттенок парижского неба. Он медленно, не спеша идет домой: он чувствует себя поэтом, — он сам мне сказал, когда добился этого, — и легким, словно только что подоенная корова; он и думать забыл об этом, а я лежу, вся испачканная. И меня не удивляет, что он такой чистый в эту минуту, всю свою грязь он оставил здесь, в ночи, излив ее в полотенце, а простынь в середине постели мокрая, я не могу вытянуть ноги, потому что почувствую эту липкую жидкость, эту гадость, но сам‑то он совершенно сухой, я слышала, как он, выйдя от меня, насвистывал что‑то под моим окном; он там внизу, сухой и свежий, в красивой одежде, в демисезонном пальто — надо признать, что одеться он умеет, женщине не стыдно показаться с ним на людях, — и вот он там, под моим окном, а я лежу голая, в темноте, мне холодно, и я растираю руками живот, потому что мне кажется, будто я еще вся мокрая. «Я поднимусь на минутку, — сказал он, — взгляну на твою комнату». Он пробыл у меня два часа, и кровать скрипела, эта паршивая узкая железная кровать. Интересно, как он отыскал этот отель; он рассказывал мне, что когда‑то прожил в нем две недели, что мне здесь будет очень хорошо; но здесь какие‑то странные номера, я побывала в двух, никогда я не видела таких крохотных комнатушек, забитых мебелью, пуфами и диванчиками, маленькими столиками, от всего этого так и разит любовью, — и не знаю, две ли недели провел он здесь, но, наверняка, был он не один; наверно, он совсем меня не уважает, если запихнул меня сюда. Гарсон отеля сильно улыбался, когда мы стали подниматься, это алжирец, а я ненавижу этих типов, боюсь их; он смотрел на мои ноги, потом вернулся в конторку; он, должно быть, сказал про себя: «Готово дело, сейчас они позабавятся» — и стал представлять себе всякие грязные штучки; говорят, что у себя они вытворяют с женщинами что‑то чудовищное; если какая‑нибудь попадет к ним в лапы, то на всю жизнь останется калекой; и пока Пьер мучил меня, я думала об этом алжирце, который представлял себе, чем я сейчас занимаюсь, и воображал себе такую мерзость, что хуже и не придумаешь. Нет, в комнате определенно кто‑то есть!»

Люлю задержала дыхание, и поскрипывание тут же прекратилось. «У меня болит между ног, все зудит и жжет, мне хочется плакать, и так будет каждую ночь, кроме завтрашней, потому что завтра мы будем в поезде». Люлю прикусила губу и содрогнулась, вспомнив, что она стонала. «Неправда, я не стонала, а лишь слегка задыхалась, ведь он такой тяжелый и, когда лежит на мне, мне трудно дышать. Он сказал мне: «Ты стонешь, ты кончаешь», а мне жутко, когда говорят во время этого, мне хотелось бы, чтобы мы впали в забытье, но он без умолку болтает всякие гадости. Я не стонала, во‑первых, а во‑вторых, я могу получить удовольствие, это факт, так врач сказал, лишь тогда, когда сама себе его доставляю. Он не хочет этому верить, они никогда не хотят в это верить, все они говорили: «Это потому, что тебя плохо научили в первый раз, я‑то научу тебя любить»; я не возражала, я знала, в чем дело: это у меня от природы, но их это лишь раздражает.

Кто‑то поднимается по лестнице. Возвращается, наверно, откуда‑то. Боже мой, пусть он вернется. Ведь он вполне на это способен, если его снова охватит желание. Нет, это не он, шаги тяжелые, а что, если — сердце в груди у Люлю бешено заколотилось — это алжирец, он ведь знает, что я одна, постучит в дверь — не могу, я с ума сойду, — нет, это этажом ниже, какой‑то тип вернулся к себе, пытается попасть ключом в замочную скважину, ему на это нужно время, он пьян. Интересно, кто живет в этом отеле, наверно, всякий сброд; вчера днем на лестнице мне попалась какая‑то рыжая девка с глазами наркоманки. Нет, я не стонала! Но естественно, что он возбудил меня своими грубыми ласками, он в этом деле мастак; я страшно боюсь мужчин, которые все умеют, я бы предпочла спать с девственником. Эти руки, которые сразу хватают вас, где надо, гладят вас, тискают, но не слишком… они принимают вас за какой‑то инструмент, гордясь тем, что умеют на нем играть. Не выношу, когда они выводят меня из себя, в горле у меня пересыхает, мне страшно, во рту появляется какой‑то привкус, я чувствую себя униженной, потому что они полагают, что подавляют меня; мне хочется дать Пьеру пощечину, когда он напускает на себя фатовской вид и заявляет: «Я владею техникой». Боже мой, представить только, что это и есть жизнь; и ради этого мы наряжаемся и моемся, наводим красоту, и все романы написаны об этом, и все только и думают об этом, а кончается все тем, что заходишь в комнату с каким‑нибудь типом, который сначала чуть ли не душит тебя, а в конце концов мочит тебе весь живот. Я хочу спать, о, если бы я могла хоть немного поспать, завтра мне придется ехать всю ночь, я буду совершенно разбита. Я хотела бы быть хоть немного выспавшейся, чтобы бродить по Ницце; говорят, там чудесно, узенькие итальянские улочки, пестрое белье сушится на солнце; я поставлю свой мольберт и стану писать, а маленькие девочки будут подходить ко мне, чтобы взглянуть, что я тут рисую. Какая гадость! (Она чуть пошевелилась и бедром коснулась влажной простыни.) Ради этого он и привел меня сюда. Никто, никто меня не любит. Он шел рядом, а я едва не падала от слабости, ожидая хоть одного ласкового слова; скажи он: «Я люблю тебя», я конечно же не вернулась бы к нему, но сказала бы ему что‑нибудь нежное, и мы расстались бы добрыми друзьями; я все ждала, ждала этого, он взял мою руку, и я не отняла ее. Риретта была в бешенстве, но не правда, что у Анри был вид орангутанга, хотя я догадывалась, что она думала что‑то в этом роде; она украдкой смотрела на него своими противными глазами; поразительно, что она может быть такой злой; и все же, несмотря ни на что, он взял мою руку, я не сопротивлялась, но хотел он не меня, хотел свою жену, потому что он женат на мне и мой муж; он всегда меня унижал, говорил, что умнее меня, и во всем, что случилось, его вина, ведь, если б он не обращался со мной свысока, я бы осталась с ним. Уверена, что в эту минуту он не жалеет обо мне, не плачет, он храпит, вот и все его дела, он очень доволен, потому что теперь один в постели и может вытянуть свои длинные ноги. Как я хотела бы умереть. Я так боюсь, что он подумает обо мне плохо; я не могла ничего ему объяснить, ведь нас разделяла Риретта, она говорила без умолку, словно истеричка какая‑то. Теперь она довольна и хвалит себя за свое мужество, за то, что так хитро обошлась с Анри, который кроток, как агнец. Я пойду к нему. Не могут же они заставить меня бросить его, как собаку». Она вскочила с кровати и повернула выключатель. Достаточно чулок и комбинации. Она даже не причесалась, так торопилась. «И люди, что встретят меня на улице, не узнают, что я совсем голая под серым пальто, которое мне почти до пяток. Алжирца — она с бьющимся сердцем остановилась — надо разбудить, чтобы он открыл дверь». Она спустилась по лестнице крадущимися шагами — но все ступени скрипели, — постучала в окно консьержной.

— В чем дело? — сказал алжирец. Глаза у него были красные, волосы взъерошены; выглядел он вовсе не страшно.

— Откройте мне дверь, — сухо попросила Люлю.

Через четверть часа она уже звонила в квартиру Анри.

— Кто там? — спросил Анри через дверь.

— Это я.

«Он не отвечает, не хочет пускать меня к себе в дом. Но я буду барабанить в дверь до тех пор, пока он не откроет, он уступит из‑за соседей». Через минуту дверь приоткрылась и показался Анри, бледный, с прыщом на носу; он был в пижаме. «Он не спал», — с нежностью подумала Люлю.

— Я не хотела уходить так, мне нужно было снова увидеть тебя.

Анри все молчал. Люлю вошла, слегка оттолкнув его. «Какой он неуклюжий, вечно торчит перед тобой, смотрит на меня своими круглыми глазами, руки беспомощно болтаются, он не знает, что делать со своим телом. Молчи, молчи, ведь я же вижу, как ты взволнован и не в силах говорить». Он пытался проглотить слюну, и поэтому Люлю самой пришлось закрывать дверь.

— Я хочу, чтоб мы расстались добрыми друзьями, — сказала она.

Он раскрыл рот, как будто намереваясь что‑то сказать, но, стремительно повернувшись, убежал. Что с ним? Она не решилась пойти за ним. Может, он плачет? Тут она услышала его кашель: он был в туалете. Когда он вернулся, она обняла его за шею и припала к его губам: от него пахло рвотой. Люлю разрыдалась.

— Я простудился, — объяснил Анри.

— Давай ляжем, — плача, предложила она, — я могу остаться до утра.

Они легли. Люлю сотрясалась в отчаянных рыданиях, ведь она вновь обрела свою комнату, свою чудесную чистую постель и красный отсвет в зеркале. Она ждала, что Анри обнимет ее, но он не шевелился: лежал, вытянувшись пластом, словно кто‑то положил в постель бревно. «Он сейчас выглядит так, будто говорит с каким‑нибудь швейцарцем». Она обхватила его голову руками и внимательно вглядывалась в его лицо. «Ты чист, да, ты чистый». Он захныкал.

— Как я несчастен, — всхлипывал он, — никогда я не был таким несчастным.

— Я тоже, — согласилась Люлю.

Они долго плакали. Наконец она успокоилась, потушила свет и положила голову ему на плечо. Если бы они могли лежать так всегда, чистые и печальные, как сироты; но это невозможно, так в жизни не бывает. Жизнь — это огромная волна, которая накатывалась на Люлю, вырывая ее из объятий Анри. «Твои руки, твои большие руки. Он гордится тем, что они такие большие, говорит, что у потомков древних родов всегда большие конечности. Он уже не будет обхватывать меня за талию своими ладонями — мне бывало слегка щекотно, но всегда приятно, потому что он мог почти смыкать пальцы. Неправда, что он импотент, он просто чистый, чистый — и чуть‑чуть лентяй». Она улыбнулась сквозь слезы и поцеловала его пониже подбородка.

— Что я скажу родителям? — спросил Анри. — Моя мать с ума сойдет.

«Госпожа Криспен с ума не сойдет, наоборот, будет в восторге. Они станут говорить обо мне за обедом, все пятеро, говорить с осуждающим видом, как люди, которые уже давно знали об этом, но не желали этого касаться из‑за присутствия младшей сестры — ей всего шестнадцать, она еще слишком молода, чтобы обсуждать при ней некоторые темы. Госпожа Криспен будет смеяться в душе, потому что она знала все заранее, ей всегда все известно и она ненавидит меня. О, какая грязь! И внешне все против меня».

— Не говори им сразу, — умоляла она, — скажи, что я поехала в Ниццу поправить здоровье.

— Они мне не поверят.

Она осыпала лицо Анри частыми, быстрыми поцелуями.

— Анри, ты был не слишком ласков со мной.

— Верно, — сказал Анри, — я уделял тебе мало внимания. Но и ты, — заметил он, подумав, — не была особенно ласкова со мной.

— И я тоже. У, какие мы несчастные!

Она заплакала, да так горько, что едва не задохнулась; скоро рассветет, и она уйдет. «Никогда, никогда мы не можем сделать то, чего хотим, нас все время куда‑то заносит».

— Ты не должна была так уходить, — сказал Анри.

Люлю вздохнула.

— Я очень тебя любила, Анри.

— А теперь не любишь?

— Не в этом дело.

— С кем ты уезжаешь?

— С людьми, которых ты не знаешь.

— А откуда ты знаешь людей, которых не знаю я?! — яростно спросил Анри. — Где ты с ними встречалась?

— Не надо об этом, мой любимый, мой маленький Гулливер, не строй из себя супруга в такую минуту.

— Ты едешь с мужчиной! — в слезах воскликнул Анри.

— Послушай, Анри, клянусь тебе, что нет, клянусь жизнью моей матери, что мужчины мне сейчас отвратительны. Я еду с одной четой, пожилыми людьми, друзьями Риретты. Я хочу жить одна, они найдут мне работу; о, Анри, если б ты только знал, как мне необходимо побыть одной, как мне все это опротивело.

— Что? Что именно тебе опротивело? — спросил Анри.

— Все! — поцеловала она его. — И все, кроме тебя, мой милый.

Она просунула руки ему под пижаму и долго ласкала его тело. Он дрожал от прикосновения этих ледяных рук, но не сопротивлялся, он лишь сказал:

— Я совсем разболеюсь.

В нем определенно что‑то надломилось.

В семь часов Люлю встала с опухшими от слез глазами и сказала устало:

— Мне пора возвращаться туда.

— Куда?

— Я живу в отеле «Театральный», на улице Вандам. Гнусный отель.

— Оставайся у меня.

— Нет, Анри, умоляю тебя, не настаивай, я тебе уже сказала, что это невозможно.

«Это поток, который тебя уносит, это жизнь; ты не можешь ни осуждать, ни понимать, остается лишь дать себя увлечь. Завтра я буду в Ницце». Она зашла в туалет, чтобы теплой водой промыть глаза. Надела пальто, вся дрожа. «Это словно рок. Лишь бы я смогла поспать в поезде этой ночью, иначе в Ниццу я приеду совсем без сил. Надеюсь, он взял билеты в первый класс; ведь я впервые поеду первым классом. В жизни всегда так: годами я мечтала поехать в путешествие первым классом, и вот, когда, наконец, мне представилась эта возможность, все складывается таким образом, что меня это ничуть не радует». Теперь она торопилась уйти, потому что эти последние мгновения были совершенно невыносимы.

— Что ты хочешь сделать Голуа? — спросила она. Голуа заказал Анри рекламный плакат, тот сделал его, а Голуа теперь от него отказывался.

— Не знаю, — ответил Анри.

Он съежился комочком под одеялом, видны были лишь его волосы и краешек уха. Он медленным, слабым голосом пробормотал:

— Я бы проспал целую неделю.

— Прощай, любимый, — сказала Люлю.

— Прощай.

Она наклонилась к нему и, слегка приподняв одеяло, поцеловала в лоб. Потом она долго стояла на лестничной площадке, не решаясь закрыть за собой дверь. Наконец она отвела глаза и сильно дернула за ручку. Послышался сухой щелчок, и ей показалось, что сейчас она потеряет сознание; похожее чувство она пережила, когда услышала, как первые комья земли застучали о крышку отцовского гроба.

«Анри не слишком любезен. Он мог бы встать и проводить меня. Наверно, мне было бы не так тоскливо, если бы он закрыл за мной дверь».

## IV

«Она сделала это! — думала Риретта, глядя вдаль, — сделала!»

Был вечер. Около шести часов Риретте позвонил Пьер, и она пришла на встречу с ним в кафе «Дом».

— Но разве вы не должны были встретиться с ней сегодня в восемь утра? — спросил Пьер.

— Я виделась с ней.

— Она выглядела неважно?

— Да нет, — ответила Риретта, — я ничего не заметила. Она была несколько уставшей, но сказала, что плохо спала после вашего ухода, так как ее возбудила мысль, что она увидит Ниццу, и потому, что она испугалась портье‑алжирца… Знаете, она даже спросила меня, уверена ли я, что вы взяли билеты в первый класс, даже сказала, что поездка первым классом была мечтой ее жизни. Да, — решила Риретта, — я уверена, что у нее и в мыслях не было ничего подобного, во всяком случае, пока я была у нее. Я пробыла с ней два часа, а у меня острый глаз на такие вещи, я бы удивилась, если б от меня что‑то ускользнуло. Вы скажете, что она очень скрытная, но я знаю ее уже четыре года и видела ее в разных обстоятельствах, я знаю мою Люлю как свои пять пальцев.

— Значит, это Тексье ее отговорили. Забавно… — Он задумался на мгновенье и неожиданно сказал: — Интересно, кто им дал адрес Люлю. Я сам выбрал отель, о котором она раньше никогда не слышала.

Он рассеянно вертел в руках письмо Люлю, и Риретту это раздражало, потому что ей очень хотелось его прочитать, а Пьер никак не давал ей письмо.

— Когда вы его получили? — наконец спросила она.

— Письмо?.. — И он отдал его ей. — Возьмите, вы можете его прочесть. Должно быть, она оставила его у консьержки примерно в час.

Это был тоненький розоватый листок бумаги, которую продают в табачных лавках.

«Любимый!

Пришли Тексье (не знаю, кто дал им адрес), и я сильно тебя огорчу, но я не еду, мой любимый Пьер; я остаюсь с Анри, потому что он очень несчастен. Сегодня утром они зашли к нему, он не хотел открывать, и госпожа Тексье сказала, что он потерял человеческий облик. Они были очень добры и поняли меня, она сказала, что во всем виноват Анри, этот увалень, хотя в сущности он совсем неплохой. Она говорит, что с ним надо было так поступить, чтобы он понял, как сильно он ко мне привязан. Не знаю, кто дал им мой адрес, они мне этого не сказали, наверно, они случайно увидели меня, когда я утром выходила с Риреттой из отеля. Госпожа Тексье сказала мне, что прекрасно понимает, что требует от меня огромной жертвы, но она знает меня довольно хорошо и уверена, что меня это не испугает. Мне очень жаль нашего чудесного путешествия в Ниццу, любовь моя, но я подумала, что ты будешь не так несчастен, поскольку я навеки принадлежу тебе. Я твоя всей душой и всем телом, и мы будем видеться так же часто, как и раньше. Но Анри убьет себя, если потеряет меня, я нужна ему; уверяю тебя, что мне не очень‑то весело чувствовать на себе такую ответственность. Надеюсь, ты не будешь строить свою злую гримасу, которая так меня пугает, и не хочешь, чтобы меня мучила совесть, ведь правда? Сейчас я возвращаюсь к Анри, и мне немного не по себе, как я представлю, что увижу его в таком состоянии, но у меня хватит твердости продиктовать ему мои условия. Во‑первых, я хочу больше свободы, потому что люблю тебя, и хочу, чтобы он оставил в покое Робера, не говорил плохо о маме. Любимый, мне очень грустно, как мне хотелось бы, чтобы ты был сейчас со мной, я хочу тебя, я прижимаюсь к тебе и чувствую твои ласки на моем теле. Буду завтра в пять часов в «Дом». Люлю».

— Мой бедный Пьер! — взяла его за руку Риретта.

— Уверяю вас, — начал Пьер, — мне самому очень ее жаль. Ей необходимы свежий воздух и солнце. Но раз уж она так решила… Моя мать устраивала бы мне жуткие сцены, — продолжал он. — Вилла принадлежит ей, а она слышать не хочет о том, чтобы я привез туда женщину.

— Неужели? — прерывающимся голосом спросила Риретта. — Неужели? Значит, все прекрасно и все довольны!

Она отпустила руку Пьера: почему‑то ее охватило чувство горького сожаления.

1. Здесь непереводимая игра слов: Rabut (Рабю) – фамилия, Rebut (ребю) – подонок. – *Примеч. переводчика.* [↑](#footnote-ref-1)